

Опричнина как русская метаисторическая универсалия в романе Владимира Сорокина «День опричника»

Для художественной рефлексии Владимира Сорокина характерна в целом тенденция к выстраиванию некоей вариативно-инвариантной типологии доксы, реализуемой в моделях метаисторических, метадискурсивных [2, 3, 5]. В каждом из таких опытов центрообразующим характером наделяется определенная буквализированная сверхметафора, функционально имеющая статус смысложизненной универсалии, тематизирующей конкретный вариант метаисторичности и метадискурсивности: в «Сердцах четырех» и «Трилогии» – это варианты концепта «сердца» и сверхмиссии, с ним связанного, в «Голубом сале» – ме-

тафора «голубого сала» и т.д. В «Дне опричника» семантизирующее ядро метаисторического и метадискурсивного моделирования – категория опричнины.

Концептосфера опричнины в романе актуализирует семантику инаковости, выделенности, исключительности, принципиальное самопозиционирование «вчуже», но одновременно и – сверхправомерности, уполномоченности, обладание абсолютной санкцией на единовозможную правоту. Опричник – иной и безусловно правый, носитель абсолютной истины и абсолютных полномочий. Но уже в силу своей абсолютности, тоталь-

ности такая инаковость нивелирует и агрессивно поглощает Иного как событийствующую инстанцию, не предполагая со-бытия как такового. Опричнина конституализируется в роли тотальной и репрессивной метади-скурсивности, которая базируется на статусе опричника как святого воинства, ратоборствующего ради «победы на супротивных». Опричник – ангел-воитель, апокалиптической масштабности, армагеддоновской сюжетности, божественной фокусности.

Именно опричнина, по Сорокину, оказывается категорией, концентрирующей и обнажающей всю глубинную кодировку русской метаисторической семиотики, заключенной в модели некоей циклически замкнутой эсхатологической дурной бесконечности, всепоглощающей черной дыры перманентного апокалипсиса. Опричнина выявляет параметры семиотики эсхатологических страхов русской истории. Неслучайно, само возникновение опричнины связывают не с конкретными, исторически локальными социально-политическими мотивами, а «с реакцией царя на ожидавшийся конец света» [4:16]. Опричнина призвана бороться с мировым злом, оградить святую Русь («рай», семиотически отождествляемый с Востоком) от ада зева (расположенного на Западе). Михаил Лотман, исследуя архетипическую парадигматику геополитических страхов в русской культуре, указывает на преимущественно мифо-идеологический и аксиологический характер их функционирования в рамках главенствующей оппозиции «Восток – Запад», порою, при несовпадении и незначимости реальных географических атрибуций. В «Послании архиепископа Новгородского Василия к владыке Тверскому Федору» говорится, что рай находится на Востоке:

...знаем из святого Писания, что насадил Бог рай на востоке, в эдеме... а в Паремии называются четыре реки, которые текут из рая, с востока, – Тигр, Нил, Фисон, Евфрат <...>. Ад же расположен на Западе: «... великий Иван Златоуст сказал: «Насадил Бог рай на востоке, а на западе – муки приготовил...» К тому же, брат, не дано людям видеть святой рай, а муки – и теперь находятся на западе [4:21].

В «Дне опричника» святая возрожденная Русь обороняется от супротивного Запада, ограждая святой Восток Великой Западной стеной, переактуализируя функцию Великой Восточной (китайской) стены: в сторону Запада ее рубежи оборонительно-наступательно заперты, зато на Восток продуктивно и прототворно разомкнуты. «Как только восстала Россия из пепла Серого, как только

осознала себя, как только шестнадцать лет назад заложил Государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент Западной Стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри – так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрии злоедающее. Истинно – великая идея порождает и великое сопротивление ей» [6:38].

Этот русско-китайский Восток как рай, Эдем уже в силу своей аксиологической исключительности, единовозможности, монополии на высшую истину (провозвестие великой идеи) необходимо самоудостоверяется, институализируется именно как опричнина. Эдемская святая Русь срастается, отождествляется с опричниной, самоутверждается в роли вселенской опричнины, свершая мессианский подвиг в яростной и бескомпромиссной борьбе с «супротивными», вершении непреклонного суда божия:

Да воскреснет Бог и расточатся врази его... <...> Крестимся мы и кланяемся. Молюсь любимой иконе своей – Спасу Ярое Око, трепещу под неистовыми очами Спасителя нашего. Грозен Спаситель, непреклонен в Суде своем. От его очей суровых сил на борьбу набираюсь, дух свой укрепляю, характер воспитываю. Ненависть к врагам накапливаю. И да рассеются врази Бога и Государя нашего. «Победы на супротивные дадут...» [6:38].

Глава опричнины, Батя так формулирует символ веры, универсалистски-абсолютную аксиологию великого дела опричного:

– Вот вы, анохи мои свет-дорогие, думаете, ради чего Стену строили, ради чего огораживались, ради чего паспорта заграничные жгли, ради чего сословия ввели, ради чего умные машины на кириллицу переименовали? Ради прироста? Ради порядка? Ради покоя? Ради домостроя? Ради строительства большого и хорошего? <...> – Так вот, анохи мои свет-родимые, не для этого все. А для того, чтобы сохранить веру Христову как сокровище непорочное, так? Ибо токмо мы, православные, сохранили на земле церковь как Тело Христово, церковь единую, святую, соборную, апостольскую и непогрешимую, так? Ибо после Второго Никейского собора правильно славим Господа токмо мы, ибо православные, ибо право правильно славить Господа никто не отобрал у нас, так? Ибо не отступили мы от соборности, от святых икон, от Богородицы, от веры отцов, от Троицы Живоначальной, от Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящий, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки, так? Ибо отвергли мы все богомерзкое: и манихейство, и монофелитство и монофизитство, так? Ибо кому церковь не мать, тому и Бог не отец, так? Ибо Бог по природе своей выше всякого понимания, так? Ибо все батюш-

ки правоверные – наследники Петра, так? Ибо нет чистилища, а есть токмо ад и рай, так? Ибо человек рожден смертным и потому грешит, так? Ибо Бог есть свет, так? Ибо Спаситель наш стал человеком, чтобы мы с вами, волки сопатые, стали богами, так? Вот поэтому-то и выстроил Государь наш Стену Великую, дабы отгородиться от смрада и неверия, от киберпанков проклятых, от содомитов, от католиков, от меланхоликов, от буддистов, от садистов, от сатанистов, от марксистов, от мегаонанистов, от фашистов, от плюралистов и атеистов! Ибо вера, волки вы сопатые, это вам не кошелек! Не кафтан парчовый! Не дубина дубовая! А что такое вера? А вера, анохи громкие мои, – это колодезь воды ключевой, чистой, прозрачной, тихой, невзрачной, сильной да обильной! Поняли? Или повторить вам? [6:211–213].

Опричники – святое ангелово воинство, во главе с Батей-Саваофом, фундамент самостояния святой Руси как райского Востока и всепобедительной тотальности великой миссии его:

Батя – фундамент наш, корень главный, дубовый, на котором вся опричнина держится. Ему Государь первому доверил Дело. На него во времена сложные, для России судьбоносные оперлась пята Государева. Первым звеном в опричной цепи железной стал Батя. А за него и другие звенья уцепились, спаялись, срослись в опричное Кольцо Великое, шипами острыми вовне направленное. Этим кольцом и стянул Государь больную, гнилую и разваливающуюся страну, стянул, словно медведя раненого, кровью-сукровицей исходящего. И окреп медведь костью и мясами, залечил раны, накопил жира отрастил когти. Спустили мы ему кровь гнилую, врагами отравленную. Теперь рык медведя русского на весь мир слышен [6:41].

Гиперсакральная миссия опричнины – архетипического статуса универсальный сюжет борьбы добра со злом – необходимо востребует мифопоэтическое поле соответствующих ритуализованных жестов инициации и причастия великому «Делу». Сорокин вводит такой круг литургических жестов на фоне актуализации адекватных нарративных репрезентаций, пародийно интонирующих сказовую риторику доминантного метадискурса. Репрессивность дискурса святой Руси буквально воспроизводит дихотомическую семиотику «своего» и «чужого» мира, ориентируясь наружно на лингвистическую практику пространства допетровской Руси (богослужбно-церковнославянский нарратив, квазитрадиционность сказки, былины, заговоров и проч.) с иронически шишковистскими атрибутами, вроде «новостного пузыря» и вовсе игровыми стилистическими макаронизмами, – такими, как «мобило», «мерин» и т.д.

Литургическое причастие-крещение святой опричнины в купели исполнено смысла

братского цементирующего единства рядов, соборной монолитности святого воинства ангельского: необходимость отпора врагам внешним вызывает к цельности и целостности опоры, фундамента внутреннего, незыблемости сердцевины. Символически ритуализованным воплощением этого единства-совместности-целостности, но одновременно и иерархизированной структурности опричных является в романе придуманная Батей «гусеница»:

Притухает свет, выдвигается из стены мраморной рука сияющая с горстью таблеток. И как исповедавшиеся к причастию, так ко длани *возсиянной* встаем мы в очередь покорную. Подходит каждый, берет свою таблетку, кладет в рот под язык, отходит. Подхожу и я. <...> Тает таблетка, сладко тает под языком, в слюне хлынувшей на нее, подобно реке Иордань по весне разливающейся. Бьется сердце, перехватывает дыхание, холодеют кончики пальцев, зорче глаза видят в полумраке. И вот долгожданное: толчок крови в уд. Опускаю очи долу. Зрю уд мой, кровью наливающийся. <...> Сплетаемся в объятьях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. <...> Вот предпоследний молодой вскрикнул, последний крякнул – и готова *гусеница*. Сложилась. Замираем. – Гойда! – кричит Батя. – Гойда-гойда! – гремим в ответ. Шагнул Батя. И за ним, за головою *гусеницы* двигаемся все мы. Ведет Батя нас в купель. <...> Мудро, ох мудро придумал Батя с *гусеницей*. До нее все по парам разбивались, отчего уже тень разброда опасного на опричнину ложилась. Теперь же парному наслаждению предел положен. Вместе трудимся, вместе и наслаждаемся. А таблетки помогают. И мудрее всего то, что молодь опричная завсегда в хвосте *гусеницы* пихается. Мудро это по двум причинам: во-первых, место свое молодые обретают в иерархии опричной, во-вторых, движение семени происходит от хвоста *гусеницы* к голове, что символизирует вечный круговорот жизни и обновление братства нашего [6:198–204].

Очередное посвящение – причастие коллективному радению – это волшебное сказочное чудо золотой рыбки. Совместно с соратниками-опричниками Комяга переживает чудесное духовное перерождение, претерпевает причастно-инициационные стадии смерти-возрождения, в литургическом таинстве его сознание озарено видением, символически буквализирующим смысл их опричного братства и того великого дела, к которому они призваны. Таинство причастия под священническим руководством Бати-Саваофа эквивалентно акту пресуществления-обоже-ния. И чудо золотой рыбки как посылка таинства, и былинная структура видения, и символическая самоидентификация в сю-

жете самого видения, – все это вполне легитимизированные элементы репрезентаций тотального метадискурса, которому принадлежат, от имени которого предстательствуют опричники. Но сверхбуквализованная артикуляция такой легитимизации производит эффект дискредитации метадискурсивных притязаний, обнажая их энтропийный и тотально-репрессивный характер.

Сказочная золотая рыбка действительно пресуществляет суть желаний алкающих обожения и пробуждения опричников, но сама по себе оказывается изощренно сконструированным китайским (восточным, акцентированно восточным, равно – сакрально эдемским) механизмом небывалого наркотического воздействия: внедряясь в кровеносные сосуды, она стремится в человеческий мозг, где откладывает свою божественную икру:

Склоняется Батя над руцею моею, яко Саваоф. И прикладывает шар божественный к набухшей вене моей. Вижу, замерли рыбки, качнулись в аквариуме своем. И одна из них метнулась в сторону вены, шаром прижатой. Вильнула хвостиком крохотным и сквозь стекло податливое пробурвилась, впиалась мне в вену. Есть! Исполать тебе, Рыбка Золотая! Батя к Ерохе переходит. Тот уж трясется, скрипит зубами, сжимает кулак, вену тугую накачивая. Склоняется над ним Батя-Саваоф голожопый... <...> Вильнул хвостик золотой, и скрылась рыбка во мне. И поплыла по руслу кровяному. <...> Чувствую как плывет во мне стерлядка золотая, как движется вверх по вене, как по Волге-матушке весной, к нересту в верховье устремляясь. <...> О, плыви, плыви, златорыбца, <...> вымечи икру свою золотую в усталом мозге моем, и да вылупятся из тех икринок Миры Великие, Прекрасные, Потрясающие. И да воспрянет ото сна мозг мой [6:88–90].

Таинство братского причастия – пресуществленного обожения обратилось коллективным озарением-видением-галлюцинацией, в котором опричнина в былинных репрезентациях самоидентифицируется как семиглавый Змей-Горыныч, яростно сокрушающий супротивный Запад:

Ах, как и открывались-раскрывались глаза мои, / Да глаза мои, желты глазоньки, / Желты глазоньки да на моей главе, / На моей главе да на могучею. / А сидит глава моя головушка / Да на крепкой шее длиннехонькой, / На длиннехонькой да на извилистой, / Всеи змеиной чешуею да покрытою. / А и рядом со моей со головушкой / Шесть таких же голов колыхаются, / Колыхаются, извиваются, / Желта золота глазами перемигиваются. <...> Ну а всех-то нас семиглавых-то / На-рекаю страшным Змеем Горынычем – / Огнедышащим Драконом Губителем [6:90–92].

Центральная мифологема русского «эдемского» метадискурса – священной рати «на супротивных», конечной битвы добра со злом, удостоверяясь как тотальность единовозможной праведности, катализирует процессы оборотнического самораспада, внутренне размыкает и отменяет свою же логику дихотомии, неизбежно оборачиваясь своей противоположностью, порождая некий антимир. Буквализация самой бинарности ценностных оппозиций обнаруживает нестойкость их полярной закреплённости, когда традиционно былинное воплощение «чужого», злого, губительного и разрушительного (Змей-Горыныч) так органично и закономерно отождествляется с силой, декларирующей свою охранительную миссию противостояния этому злу. В такой ситуации включаются механизмы оборотнического родства квазиполярностей таких смысложизненных оппозиций «великих идей» и «великих дел». Всякая тотальность необходимо востребует насильственный инструмент своего осуществления, своей единственности, единовозможности, единосценарности, исключения Иного как онтологического института, как возможной актуализации. Таким образом, предельная и насильственная акцентуализация аксиологической двуполюсности (добро – зло) неизбежно приводит к неразличению и снятию собственно этических концептуализаций как ситуативно нерелевантных, что и происходит в случае опричнины. Их святое причастие делу добра есть одновременно и антипричастие, это причастие миссии насилия во утверждение единой истины единого образа мира, а кто конкретно окажется супротивными, здесь, в сущности, неважно. Неслучайно, результатом такого причастия-призвания-пробуждения-сна-галлюцинации стала чудовищная монструозность их преображенного, а скорее, истинно обретенного и развоплощенного облика и деяний. Это именно что таинство причастия как литургического боговоплощения и богопресуществления, каких много еще будет в романе, – речь идет именно о взыскании некоего обожения, человекобожеском варианте его. Коллективный былинный сон-бред воплощает апофеоз откровенного и обнаженного насилия, безграничной жестокости, абсолютного воления разрушения и гибели:

Полетим мы нынче да по небушку, / Все по небушку да по синему, / Все на запад напрямиком, в страну дальнюю, / В страну дальнюю да богатую, / По-за морем-окияном пораскинувшуюся, / Пораскинувшуюся да порасцветшую, / Злата-

серебра богато накопившую. / В той стране далекой терема стоят, / Терема стоят все высокие, / Все высокие, островерхие, / Небо синее нещадно подпирющие. / А живут в тех теремах люди наглые, / Люди наглые да бесчестные, / Страха Божия совсем не имеющие. / И живут те люди безбожные / Во грехах своих паскудных купаются, / Все купаются, наслаждаются, / Да над всем святым издеваются. / Издеваются, насмеваются, / Сатанинскими делами прикрываются. / Все плюют они на Святую Русь, / На Святую Русь на православную, / Все глумятся они да над правдою, / Все позорят они имя Божие [6:93–94].

И когда текст достигает кульминации насилия, когда сам дискурс конституализируется как воплощенные ненависть и насилие, он сам деградирует, превращается в истерический вопль безумного садистического упоения, разваливается на глазах, сходит на нет:

Глядь, увидели страну ту безбожную. / Налетели мы тотчас, изловчились, / Стали жечь ее из семи голов, / Из семи голов, из семи ротов, / Стали жрать-кусать тех безбожников, / А нажравшись их кости повыплюнули, да опять жечь-палить принимались, жечь-палить тех гадов, тех гадов-гадских, выблядков омерзительных, безбожных наглых забывших все святое все трисвятое их надобно выжигать аки отпрысков асмодея аки тараканов аки крыс смердящих выжигать беспощадно выжигать дочиста дотла жечь выблядков окаянных жечь огнем чистым и честным жечь и жечь... <...> еть-етьетьетьетьетьетьетьетьеть [6:97–98].

В романе святая Русь-опричнина предстает в виде циклично самозамкнутой ценностной вселенной, пребывающей в перманентно, метаисторически длящейся фазе суррогатного апокалипсиса – окончательно-разрешительного, эсхатологического в своей напряженности, но оборотнически неразличимого

в своих фронтах, оппозициях, полюсах и диспозициях, то есть, вполне мнимого и фантомного, несмотря на реальную кровь и насилие, боя «добра со злом». Циклообразующую структуру дурной бесконечности самовоспроизведений, квазиисторических холостых оборотов задает уже сама фабульная модель «одного дня» героя, замыкающая событийный круг вечных повторений. Это подчеркивается введением интертекстуальной кольцевой рамки бредовых сновидений Комяги утром до пробуждения и ночью после очередной пьяно-наркотической оргии. Комягу преследует один и тот же сон: белый конь в степи, за которым не угнаться, но в котором угадывается вся жажда сокровенных обретений. Для героя это, возможно, сублимация той окончательной абсолютности всеразрешительного, но вечно ускользающего идеала, который в дневной своей практике Комяга пытается принудить сбыться любой ценой, потопив мир в крови и «погасив звезды». Во всяком случае, кажутся неслучайными апокалиптические отголоски «коня бледного», за которым следует ад с властью над четвертой частью земли – умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными. И блоковская модель русской метаистории из «Поля Куликова»:

И вечный бой! Покой нам только снится / Сквозь кровь и пыль... / Летит, летит степная кобылица / И мнет ковыль» [1:249]. Опричник Комяга не знает покоя в своем вечном священном бою, его тревога о судьбе России также полна апокалиптических предчувствий. Он задает свой главный вопрос ясновидящей: «Что с Россией будет? Молчит, смотрит внимательно. Жду с трепетом. – Будет ничего [6:141].

Литература

1. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. – М.-Л., 1960. – Т. 3. 2. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М., 2001. 3. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. – Екатеринбург, 1997. 4. Лотман М. О семиотике страха в русской культуре // Семиотика

страха. – Париж-Москва, 2005. – С. 13–36. 5. Мережжиская А.Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80–х–90-х годов XX века. – К., 2001. 6. Сорокин В. День опричника. – М., 2006.

АНОТАЦІЯ

В роботі досліджуються провідні аспекти аксіологічної семантики роману Володимира Сорокіна «День опричника», що пов'язані з роллю концепта опричнини в структурі твору.

SUMMARY

In this article the problems according to ambivalence of valuable poetics of Vladimir Sorokin are considered.